

Лидия Чарская. Рассказ из цикла «Записки малюткой гимназистки»

Утро. Часовая стрелка приближается к десяти. В четвертом классе заканчивается урок Закона Божия. Урок трудный. Задана Литургия Преждеосвященных Даров. Катехизис – нелегкая задача. Это не то, что история Ветхого и Нового Завета. Батюшка, молодой священник в коричневой рясе с академическим знаком на груди, спрашивает довольно строго. В третьем классе он был менее требователен к ответам гимназисток. Оно и понятно. Четвертые – не третьи, не маленькие уже. Четвертый класс – это мостки, перекинутые к старшему отделению.

Отвечает худенькая, рябоватая, смуглая девочка с туго заплетенной черной косичкой за плечами. Ее зовут Маня Дадурова. Учится она плохо, но не по лени, а по какому-то странному недетскому, равнодушию. Маня – флегматичная молодая особа. Большею частью молчит, уставившись в одну точку, точно о чем-то глубоко-глубоко задумалась. Окликнешь – точно просыпается от долгого сладкого сна.

Подруги не любят Маню. Она никогда не смеется, не шалит с ними, никогда не болтает. Ходит в переменки одна, между уроками завтракает одной булкой, также одна, где-нибудь в уголке, крадучись как-то, тишком. Уроков своих хорошо никогда не знает. Оттого и отметки у нее скверные. При переходе из третьего в четвертый была переэкзаменовка по французскому языку. Языки совсем не даются Мане. Впрочем, что же ей и дается? Абсолютно ничего.

Сейчас отец Николай из себя выходит, силясь напомнить Мане, что следует после ектеньи. Маня, как столб, ровно ничего не помнит, силится восстановить в памяти заданный урок и опять-таки молчит, как рыба, и только растерянно моргает своими подслеповатыми глазками.

– Боже ты мой, тупица какая эта Дадурова, – говорит миловидная Соня Хорькова своей соседке по парте Ольге Карловой, – батюшка, кажется, ее сам на ответ наводит, другая бы сразу нашлась, что и как ответить, а она... Соня не успевает закончить своей фразы, так как отец Николай произносит на весь класс:

– Печально, весьма печально, девица Дадурова, что вы опять не знаете урока! Садитесь на место. Я вынужден вам поставить «два».

Получить двойку по Закону Божию – неслыханное дело! Самый меньший балл у отца Николая обыкновенно три минуса при пятибалльной системе, и надо действительно умудриться «схватить» по Закону Божию два. В гимназии есть правило оставлять после урока нерадивых учениц, получивших самую плохую отметку – единицу, но Закон Божий считается самым важным предметом, и по такому предмету иметь двойку – позор.

Поэтому когда с тем же равнодушным, не выражающим ни печали, ни горя, лицом Маня Дадурова идет садиться на место, ее встречает у парты разгневанная классная наставница, маленькая, худенькая дама в пенсне, Валерия Антоновна Зверина.

– Вы останетесь на два часа после уроков, – говорит она тихо, но так, что сидящие вокруг девочки прекрасно слышат ее слова.

И едва только Валерия Антоновна успевает отойти от Маниной скамейки, как по классу уже несется сенсационная новость: Дадурова остается за «пару» по Закону на два часа!

Никому не жалко Дадуровой. Ничье детское, обыкновенно податливое на чувствительность, сердечко не сжалось участием по отношению к ней.

Зачем ее жалеть, когда она сама себя не жалеет? Такая холодная, равнодушная; бесчувственная какая-то. Бог с ней!

* * *

Гимназический учебный день проходит быстро. После трех утренних уроков большая перемена, потом еще два часа занятий, и в половине третьего девочек распускают по домам. Как стая веселых птичек, с говором и щебетанием собирают они наскоро свои ранцы, сумки, связки с книгами, и, смеясь и перегоняя друг друга, сбегают по широкой лестнице в нижний этаж, в раздевалку, где у каждой под ее собственным номером хранятся у сторожа верхнее платье и галоши.

Четвертый класс опустел. Затих веселый смех и говор. Гимназистки разошлись по домам. В дальнем уголке класса копошится только одинокая маленькая фигурка. Это Маня Дадурова остается отбывать возложенное на нее наказание. Она сидит на своем обычном месте, у окна, с книгой на коленях и, лениво повернув голову, смотрит на крышу соседнего дома. На душе обычная апатия с примесью горечи. Мысли работают медленно и вяло. Лицо бледное и не говорит ни о чем, точно маска.

Мысли медленно кружатся. Ни одной радостной, ни одной счастливой! Мане четырнадцать лет, но кажется, что меньше, хотя лицо ее – лицо маленькой старушки. Она сирота: ни отца, ни матери. Живет из милости у бедных родственников. И без нее у дяди с теткой куча ребят мал мала меньше. Тяжело ей дома. Еще тяжелее в гимназии. Не любят здесь, не любят там. Где легче приходится и сама не знает Маня. И вдобавок ученье трудно дается! Все думают, что она лентяйка. Ах, знали бы они всю ее жизнь!.. Знали бы только!

Опять кружится, кружится мысль Мани. «Если бы знали», – выстукивает ее бедное маленькое сердечко, и она снова погружается в какое-то

оцепенение, охватывающее все ее жалкое юное существо молоденькой старушки.

* * *

– Дадурова! Вы можете идти домой.

Маня вздрагивает. Темным силуэтом мелькает Валерия Антоновна в дверях. На улице заметно стемнело. Зажглись фонари, и их отблеск слегка освещает пустую, неуютную комнату. Голос Валерии Антоновны звучит недовольными, раздражительными нотками. Еще бы! Ей неприятно оставаться на лишние два часа по окончании рабочего дня потому только, что одной из нерадивых учениц заблагорассудилось получить по Закону Божию двойку.

Маня Дадурова встает и спокойно, не торопясь, начинает укладывать свои книжки. Потом отвешивает реверанс наставнице и спускается вниз. Там, на вешалке в раздевалке, висит ее ветхое, во многих местах заплатанное пальтишко и облезшая от долгого употребления поддельного котика меховая шапка. Старичок сторож, дежурящий бессменно у вешалок, добродушно подшучивает над ней:

– Эх, поздненько что-то, барышня! Полюбились, знать, гимназия, загостились нынче!

Маня проворно одевается, стараясь не смотреть на старика, и незаметно прошмыгнув мимо величественного гимназического швейцара, стремительно выскакивает на улицу.

Зимний ласковый вечер. Чуть-чуть студит морозцем. Летят легкие, как пух, снежинки. Легко светят фонари. Бегут с веселым звоном трамваи, спешат пешеходы по тротуарам.

Широко раскрытыми глазами Маня смотрит на знакомые картины. Здесь, на улице, затерянная в толпе, она чувствует себя совсем иной. Это не прежняя тупо-равнодушная гимназистка со спокойно-флегматичным видом, нет! Ее глаза сияют удовольствием. На смуглых рябоватых щеках играет румянец, и даже нечто вроде улыбки приоткрывает тонкие губы. Маня так любит бывать среди незнакомой толпы и тихонько любоваться высокими домами, освещенными витринами, бегущими, будто наперегонки, вагонами трамваев. А еще больше любит природу Маня. Этот белый, скрипучий, ласковый снег под ногами, эти золотые звездочки на потемневшем небе, деревья, осыпанные серебряной пудрой инея во встречных скверах. Она идет не спеша, перебирая маленькими ногами, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух. Незаметно доходит до дома и приходит в себя только на пятом этаже, перед убогой дверью, обитой рваной клеенкой, на которой значится: «Иван Афанасьевич Руханов, живописных дел мастер».

* * *

– Это еще что за мода такая, чтобы к ужину домой возвращаться! – встречает Маню Дадурову знакомый крикливый голос.

В темной передней ни зги не видно. Из крохотной приемной слышится заунывное пение... Это дядя Иван, пользуясь вечерней передышкой, моет палитру и кисти и поет. В воздухе стоит запах скипидара и красок. С подоткнутым подолом тетка Мани – Александра Яковлевна – носится по крошечной квартирке и ворчит:

– Вот еще мода тоже! Прогуливаться вздумала! Я тебе покажу в другой раз прогулки! У меня, матушка моя, живо – раз-два, за ушко, да и на солнышко! Много воли взяла тоже... Гимназистка какая! Где ты до этого часа пропадала? – неожиданно подсакивает она к Мане и, дернув ее за косичку, визгливо кричит: – Где, говори, где?

– В гимназии, – слышится чуть внятный робкий ответ девочки.

– Рассказывай сказки! До этих-то пор в гимназии, да что ты, девушка, рехнулась?! Кто твоей брехне верить-то станет?!

Лицо тетки делается мгновенно багрово-красным. Глаза округляются от гнева.

Маня поднимает на нее потухший взор и роняет апатично:

– Ну да, в гимназии. Взяли и оставили после уроков. Два часа отсидела. За Закон Божий получила двойку у батюшки.

Тетка едва слышит ее ответ. Впечатление остается только от двойки.

Двойка за Закон Божий! Да ведь это позор, позор неслыханный!

– Господи Боже мой, – всхлипывает тетка, – и что это за девочка, наказание чистое! Лентяйка, нерадивая, бесталанная к тому же. И в кого ты только уродилась, скажи ты мне, Христа ради! В кого?

Тетка уже не кричит, не сердится. Она подавлена, уничтожена. Ей необходимо вылиться в жалобах на судьбу. Маня стоит со своим обычным тупо-равнодушным видом перед нею и молчит. Из мастерской слышится заунывное пение дяди Ивана.

Его, очевидно, не слишком трогает неудача племянницы. Собственная работа поглотила вполне. Но вот тетка утирает слезы передником, глядит с минуту на молчаливо стоящую перед ней Маню и вдруг неожиданно выкрикивает на всю маленькую квартиру:

– Идол ты! Идол бесчувственный. В гроб ты меня вгонишь! Не чужая ведь ты мне! Покойной сестрицы дочка. Так разве мне сладко, а?

Потом она молча крутит головой и, опять возвысив голос, кричит:

– К портнихе в ученье отдам, в мастерскую, если еще раз меньше тройки домой притащишь, девчонка скверная! А сейчас на кухню ступай! Ужин готовить время. Небось, нагулялась всласть, а теперь еще принцессу разыгрывает...

Изрядный толчок в спину заставляет Маню вылететь из прихожей в кухню. У плиты стоит крошечная старушка, одетая в опрятное ситцевое платье, с добрым, лучащимися морщинками лицом. Это бабушка Маремьяна Игнатъевна, мать дяди Ивана, свекровь тети Саши. Она стоит с ложкой в руке и тщательно мешает варево в кастрюле. Увидя Маню, она добродушно кивает:

– Что, горе стряслось, девочка? Не везет, значит. Ну, Господь с тобой, в другой раз справишься... А ты, Саша, не пугай зря ребенка! Сама видишь, уж и без того Маня какая-то оторопелая у нас. Бранью хуже... Бранью делу не...

– Ах, что вы понимаете, маменька, – сердито поводя плечами, прерывает ее Александра Яковлевна и, досадно отмахнувшись, начинает хлопотать у плиты.

Маня стоит растерянная, с опущенными вдоль тела руками.

– Хлеба нарежь, – сердито бросает ей тетка.

И девочка как во сне направляется к кухонному столу.

С шумом распаивается дверь, и два мальчика – один по восьмому, другой по девятому году, а за ними малюсенькая, на кривых рахитичных ножках, девочка, вбегают в кухню.

– Мама, мы кушать хотим! – кричит младший из мальчуганов, в то время как старший без церемонии хватает со стола большую краюшку хлеба и с большим аппетитом начинает уплетать ее.

– И мне кусать, и мне! – лепечет девочка.

Тетя Саша мечется по кухне. Глаза ее гневно сверкают в сторону Мани.

Она выходит из себя от одного вида девочки.

– Очень хорошо! Превосходно! И хлеба-то нарезать как следует не может! Белоручка! Гимназистка-барышня! Фу-ты, ну-ты! В кисее бы тебе да бархате ходить! Дети с голоду умирают, а она час целый с караваем хлеба управиться не может! Смотреть противно! Ступай на стол накрой! Да Машу на руки возьми, а то опять ушибется...

Мане остается только подчиниться приказанию, и она выходит из кухни с маленькой двоюродной сестренкой на руках.

* * *

Ужинают долго, сосредоточенно, как умеет ужинать только простой рабочий народ. Хозяин ест молча. Он притомился за день. Да и проголодался вдобавок. Обедать не успел. Надо было заканчивать заказ, соседу лавочнику расписать вывеску. Бабушка Маремьяна Игнатъевна больше кормит внуков, нежели ест сама, особенно маленькую Машу, к которой чувствует сильное влечение. Мальчуганы Костя и Волька едят из одной тарелки, причем Костя как старший считает себя вправе вылавливать из щей лучшие куски мяса и хрящи. Вольке, разумеется, не по вкусу такой

маневр брата и, чтобы умирить усердие последнего, он без обиняков дает ему ложкой по лбу. Константин в долгу не остается. Волька ревет благим матом.

– Молчать! – кричит на них отец, потом обращается к племяннице: – Хоть бы ты уняла, их, Маня! Поесть не дадут спокойно.

Тетка, казалось, только и ждала этого момента:

– Ах, скажите, пожалуйста, наша Манечка сумеет унять детей! Да наша Манечка ничего не сумеет сделать! Только разве двойки по Закону Божию получать. И зачем только было покойнице сестре отдавать ее в гимназию! Куда лучше было бы в ученье к портнихе или модистке! Мы не люди – машины рабочие, так какая нам особенная ученость нужна! А то платим из сестриных сбережений, денежки-то уходят их сиятельству Манечке, они куда больше на приданое быгодились. А то...

Крик ребенка в соседней комнате заставляет тетку Сашу замолчать на минуту.

– Маня! Пойди перепеленай Митеньку, – тоном, не допускающим возражений, приказывает она девочке. Едва успевшая проглотить несколько ложек щей, Маня торопливо поднимается из-за стола и проходит в спальню. Там около широкой постели хозяев помещается люлька новорожденного двоюродного братца Мани, Митеньки.

Митенька, болезненный слабенький ребенок, то беспокойно покрикивает, то неистово плачет целые дни. Приходится ухаживать за малюткой, и эта обязанность целиком возложена на Маню. На этот раз Митенька, однако, милостивее, нежели всегда, и его молоденькая нянька возвращается к столу раньше обыкновенного.

– Уснул? – коротко спрашивает хозяйка девочку.

– Да, тетя.

– Ну, хлебай щи да убери со стола! Надо посуду мыть и ребят укладывать. Еще починки белья хватит до полуночи, – отрывисто недовольным голосом роняет Александра Яковлевна и, первой поднявшись со своего места, истово крестится на образа.

После ужина Мане приходится укладывать Костю и Вольку. Но мальчуганы и думать не хотят о сне. Поднимается возня. Костя изображает кучера, Волька коня, в результате кучер увлекается и бьет коня. Конь ревет на весь дом так, что с нижнего этажа, где живут портные, приходит мальчишка и от имени хозяев просит быть потише. С трудом, при содействии отцовских подзатыльников, мальчиков удается, наконец, уложить на старый клеенчатый диван, играющий роль двух детских постелей.

Вскоре, кряхтя и охая, в кухне на четырех составленных вместе табуретах устраивает свое ложе и бабушка Маремьяна Игнатьевна. Из темного чулана приносит Маня перину и кладет поверх табуретов. Покончив с этим делом, девочка торопится перемыть, перетереть посуду, помогает Александре Яковлевне чистить кастрюли, ножи и пuzатый, и без того сверкающий

медью самовар. К девяти часам удается убраться. С широким зевком тетя Саша направляется в спальню, предварительно сунув в руки племяннице целый сверток белья.

– Вот пересмотри, девушка, уж завтра починишь, нынче поздно. Уроки еще, гляди, выучить надо, да и Митеньку, когда если проснется, покачай, слышишь, Манюшка?

– Слышу! – торопливо отзывается Маня.

К одиннадцати все стихает в квартире живописных дел мастера. За обеденным круглым столом, с поставленной на нем жестяной чадящей лампочкой из кухни (висячую лампу тетя Саша из боязни слишком большого расхода керосина зажигать по ночам не велит), Маня, успевшая пересмотреть белье, принимается за уроки. Открыв классный дневник, прежде всего смотрит, что задано. По истории – Савонарола, по русскому – о стихосложении, по математике – о равенстве прямых углов. По французскому (о, вот это самое трудное для Мани!) – стихотворение на память. В общем, труднейший вечер. Жаль, что позабыла она об этом сегодня! Надо будет приналечь как следует, да! О Савонароле она, правда, успела выучить, отбывая сегодняшнее наказание. Сейчас решит теорему. К счастью, это нетрудно, и, вооружившись листком бумаги и огрызком карандаша, Маня царапает линии, буквы на бумаге и шепчет:

– Если линия АВ равна DC, то линия EF... – и так далее, до тех пор, пока белый листок, лежащий перед ней, не темнеет рядом геометрических линий и букв.

Теперь русский. Ах, все, что надо запомнить наизусть, для Мани – мука! Одна сплошная мука, да и только. Мысль начинает кружиться и плясать без всякого смысла, и в голове появляется какой-то сплошной хаос или, вернее, ничего не появляется вовсе. Или вдруг ни с того ни с сего зарождаются самые нелепые мечты. Что, если бы она, Маня, была Савонаролой, о котором кое-как ей удалось прочесть сегодня, и она ходила бы и проповедовала, и учила людей любить и познавать Бога, жить между собой дружно и хорошо, и все в таком роде? Тогда не надо было бы учить размеров стихосложения, этих ужасных ямбов, хореев, анапестов и амфибрахийев, и французских стихов...

Или вдруг она сделалась бы доброй волшебницей! Превратила бы бедную квартирку дяди Ивана в роскошный мраморный дворец, а Костю, Вольку, тетю Сашу и бабушку нарядила бы в бархатные костюмы и платья. Дяде Ивану заказала бы свободную куртку с отложным воротником, какие бывают у настоящих художников. Ах, как было бы прекрасно все это! Наверное, тогда бы гимназистки не чуждались ее, Мани! Она была бы всегда хорошо одета и училась бы лучше в мраморном дворце, потому что, уж наверное, там нашлась бы комната, где она могла бы без помехи готовить уроки. И Маня так увлеклась мечтами такого счастливого и невозможного будущего,

что окончательно позабыла о хореях и ямбах, как-то мигом испарившихся из ее головы.

Маня мечтала. Лампа чадила. Перед Маней сиротливо лежали позабытые тетради и книги. Ее глаза, бессмысленно устремленные в одну точку, оставались неподвижными. Вдруг захныкал Митенька в соседней комнате. Маня торопливо вскочила, прошла в спальню, где сладко храпели тетка с дядей и двоюродные братья. Стала покачивать ногой люльку и тихонько припевать шепотом:

– Кши! Кши! Кши! Спи, усни! Кши! Кши! Кши!

Митенька вполне, казалось, удовлетворился такой заботливостью и успокоился настолько, что Маня могла снова заняться своими уроками. Могла... Но раз овладевшие ею мечты не хотели выпускать девочку из сладкого плена. К тому же, первая строка французского стихотворения оказалась совсем непонятной для Мани и она не могла запомнить ни единого звука из нее.

От невозможных иллюзий стать волшебницей мысль Мани перебросила ее к действительности. В мозгу закипели вопросы: «Почему меня не любят? Неужели же потому, что я бедная, несчастная, некрасивая сирота? Но ведь и Аля Сухова бедная и одинокая, и учится плохо, и одевается ужасно, и живет в комнате у бедной-бедной родственницы. А ее ведь любят, любят!» Вспомнилась Аля, некрасивая, с добродушным, веселым лицом, общительная, разговорчивая, дружная со всем классом. Вспомнились попутно и последние гимназические дни. Особенно трудно прошли они для Мани. Класс, как-то странно чуждавшийся ее... Никто не сочувствовал дурным отметкам, получаемым Маней, никто не интересовался ею. Точно и вовсе забыли о ее существовании в классе. В самых недрах души зашевелилось сознание, что не класс виноват в этом, а она сама, Маня. Она сама, озлобленная на себя и свое сиротство, на свою нелегкую жизнь в доме дяди и тетки, чуждается своих подружек. Она точно заперлась в своем горе и никого не допускает сочувствовать ей.

Сегодня ей тяжело особенно, И уроки трудные, да и тетка загоняла. И на душе – камень. Наказали за что? За то, что день-деньской по возвращении домой она работает на родных; а вечером какое ученье?!

Ах, если бы у нее была своя комнатка, свой отдельный уголок, где бы можно было готовить уроки!

Лампа зачадилась сильнее, стала меркнуть и потухла. На стенных часах пробило час. За стеной в кухне заворочалась бабушка. Надо было ложиться. Завтра рано вставать. Французские стихи остались невыученными. Маня легла тут же, в мастерской, на диване.

* * *

В четвертом классе событие. Уходит любимая учительница немецкого

языка Марья Карловна Гюнст. Она немка по происхождению. Детей любит, как своих собственных. Прежде Марья Карловна преподавала во всех классах, но с годами здоровье ее подточилось настолько, что она взяла только уроки в одном классе и готовила его целых четыре года. Теперь она уходит совсем. Уезжает на родину, где ждут ее старички родители и младшие сестры.

«Четвертые» всем классом решительно обожали добрую учительницу и в знак своей бесконечной привязанности к ней решили сняться с Марьей Карловной большой классной группой.

Маня Дадурова вошла в класс как раз в ту минуту, когда черненькая, быстроглазая Леля Ямщикова, взгромоздившись на скамейку, держала речь:

– Итак, господа, решено! Сегодня же после немецкого урока, благо он приходится последним, просим нашу милую Гюночку идти с нами к фотографу. Как есть и в чем есть. Безо всяких глупых приготовлений. А то Кузьмина и Ванюкова, наверное, бантики понацепят на головы, а Шемяхина бальные перчатки натянет, и как все это торжественно выйдет! Куда лучше – раз, два, три! Правду ли я говорю, а?

– Ну конечно, правда! – отозвались здесь и там изо всех углов класса.

– Ну и прекрасно! Давайте деньги! Кто сколько принес! продолжала волноваться Леля. – На задаток фотографу хватит, а потом у родных попросим, сколько кто может дать. Касса – мой передник. Подходите, господа, и не смущайтесь миниатюрностью сумм. Ведь это складчина. Всякое даяние благо.

– На, вот мое даяние! – прервала подругу серьезная Маша Горсухова и бросила в принявший мгновенно форму мешка черный гимназический фартук Лели новенький серебряный полтинник.

– А вот и мое! – и Оля Георгинова тоже опустила в «кассу» данный ей поутру на покупку лакомств пятиалтынный.

– Господа! Больше пяточка не могу. Совсем банкрот! – кричала шалунья Махрина, мазуркой подлетая к «кассе».

Полтинники, двугривенные, гривенники и пятаки так и сыпались в «кассу».

Анна Смирнова, дочь богатого купца, владельца фруктового магазина, пожертвовала целую трехрублевую бумажку. Княжна Зина Вяземская – золотой. Все остальные, по мере сил и возможности, участвовали в складчине.

– Ну а ты, Дадурова? Чем порадуешь? – неожиданно обратилась черненькая Леля к молчаливо и одиноко сидевшей на своем обычном месте Мане.

Маня подняла голову и густо покраснела. Она видела с начала до конца эту сцену и переживала тысячу разнородных терзаний в эти минуты.

Было до боли горько, что, как назло, в стареньком ее кошельке не было ни гроша! Хотелось выразить свое сочувствие уходившей учительнице,

которая так снисходительно относилась к ней, Мане, с таким ангельским терпением билась над ее поистине ужасным немецким произношением. Кроме того, хотелось не отставать от класса, не отделяться хоть в этом от подруг. Но делать было нечего. Приходилось считаться с обстоятельствами. Судьба оказывалась неумолимой и на этот раз к ней, Мане.

– Ну что же ты, Дадурова?! Скажи хоть что-нибудь!

Голос Лели Ямщиковой звучит недоброжелательно и сурово. По одному этому голосу чувствуется, что Леля не любит Маню и не сочувствует ей. О, совсем, совсем не сочувствует!

«Да и надо ли ей сочувствие, Дадуровой, она такая замкнутая в себе, всегда черствая, холодная, сухая! Сторонится ото всех, избегает подруг. Настоящий волчонок!» – и Леля смотрит на Дадурову недовольными, почти злыми глазами.

В душе Мани целая буря. Что-то рвется в ней, струны какие-то, надтреснутые, больные. Так бы и вылила все, что накопилось в душе! Но нет, нет, не поймут они, осмеют еще, пожалуй, осыпят насмешками. Они ей чужды, счастливые, радостные, веселые... Что им за дело до Маниных мук...

Вместо всякого ответа Дадурова отрицательно качает головой.

– Что? – возмущенно вскрикивает Ямщикова, – что? Вы и нашу милую Гюночку порадовать не хотите?..

– У меня нет денег! – глухо срывается с губ Мани.

На мгновение в классе водворяется тишина. Только все взоры обращаются к девочке и под этими сорока взглядами глаза Дадуровой опускаются в землю, как у виноватой... Голова начинает кружиться. В висках что-то бьется и стучит...

– Ну так что ж, что нет денег?! Разве мы все чужие друг другу?! Ведь одноклассницы, свои, – слышится чей-то мягкий, спокойный голосок. – Вот и у Али Суховой тоже нет, а она сниматься будет с нами. Ни за что не обидит Гюночку нашу! – Саша Меркулина, миловидная пятнадцатилетняя шатенка, подошла к Мане и ласково окинула ее взглядом своих добрых, немного близоруких глаз.

Что-то затрепетало в душе Мани от этого взгляда. Щеки ее вспыхнули. По лицу промелькнула жалкая бледная улыбка. Что-то подступило к горлу и как тискаами сжало его. Бойкая Леля соскочила со скамейки и, придерживая концы фартука с дребезжащими в нем монетами, тоже приблизилась к Мане.

– Пожалуйста, насчет этого не беспокойся, Дадурова, – произнесла она куда более миролюбивым тоном. – За Сухову мы заплатим, и за тебя тоже... Когда-нибудь отдашь.

И опять сильно забилося Манино сердце. Она порывисто метнулась вперед без всякой цели, схватилась за голову и с порывом отчаяния, вырвавшимся наружу, вскричала голосом, полным вымученной тоски:

– Но ведь то Сухова... любимая... вами... а то я... ненавистная, далекая, чужая! О, Господи! За что?! За что?! За что?!

Последние слова сорвались воплем, Маня упала на свой пюпитр головой и заплакала горько, неудержимо.

Маня рыдала, всхлипывала, обливаясь слезами, и сквозь рыдания, всхлипывания и слезы складывалось ее несложное, наболевшее признание. Она не виновата в своей сухости, нечуткости! Ее не поняли! Она не отчуждалась. О, нет! Но только ее жизнь сложилась так тяжело, без дружбы, без участия. Она одинока. Она сирота. Она и учиться-то не может так, как бы ей хотелось. Столько дел по дому! Столько работы! Она видела: кругом все счастливые, довольные, все недружелюбно поглядывают на ее угрюмое лицо. Господи! До веселья ли ей?! До дружбы ли?! До ученья?! Слова рвались из уст девочки. Она горела желанием быть понятой всеми ими, тесной толпой окружившими ее, вздрагивающую от слез. Но вот она замолчала. Снова тишина воцарилась в классе. Долгая-долгая тишина. Потом, как это всегда бывает, заговорили все разом. Десятки рук потянулись к Мане. Девочки высказывали теперь теплые, добрые, сочувственные слова. Десятки пар глаз, сиявших сочувствием, лаской и слезами, искали взгляда заплаканных Маниных глаз. Кто-то обнял ее. Кто-то прижался губками к ее горячей мокрой щеке. Кто-то шептал чуть слышно:

– Ах, если бы мы знали все это раньше! Если бы ты доверилась нам! Как бы мы сумели приласкать тебя! Маня, Маня!

– Мы бы поняли тебя и оценили! – говорил другой сочувственный голос.

– Бедная Маня, нелегко было таиться тебе! – звучал третий.

И под эти милые звуки душа Мани Дадуровой точно оттаивала постепенно от сковавшей ее ледяной коры, и в нее заглянуло горячее ласковое солнце.

* * *

...Теперь для Мани Дадуровой началась новая жизнь. В гимназию она идет как на праздник. Там ее сочувственно, ласково встречают подруги. И уроки свои Маня учит не одна, а с кем-либо из девочек. Подруга заходит обыкновенно за Маней и уводит ее к себе. Тете Саше было объяснено, что если заставлять так много работать дома Маню, она не выдержит экзамена и ее исключат из гимназии... Сначала Александра Яковлевна отнеслась к этому вполне равнодушно:

– Ну, исключат – и пускай, отдам в портнихи.

Но дядя Иван и бабушка горячо вступились за Маню:

– Зачем губить карьеру девочки?! Может статься, из нее много путного выйдет!

И тетка, поворчав, оставила племянницу в покое.

Маня теперь вполне счастлива. Учится она недурно. Подруги ее любят, и прежние горькие думы покинули девочку.